К 145/137
ХИМИИ кн. 1

ГОД XXXI

АЛЬМАНАХ
ПЕРВЫЙ

СОВЕТСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ
1948

Василий Гроссман

Поездка в Киргизию

1

На Внуковском аэродроме в шесть часов утра полно народу. Здесь огромность советского пространства обретает реальность физического ощущения. Вот толстощекий человек в больших сапогах, в синем грубошерстном пальто. Он развернул на чемодане газетный сверток, режет перочинным ножиком кольца колбасы и медленно, по-крестьянски жует. Может быть, работник отдела снабжения уральского завода, свердловский или челябинский орсовец? Бывший военный в пыжиковой мятой шапке со светлым пятном от звезды, с неотпоротыми суконными лямками на шинели, — знак того, что он готов снова надеть погоны, — лицо загорелое, утомленное; с ним некрасивая женщина в белом платке, с плетеной, туго набитой «авоськой» — помидоры, хлеб, снова хлебный кирпич, сухари. Это люди суровой, трудовой судьбы, летят, видно, на север: в Москве еще тепло, а они уже одеты по-зимнему — теплый платок, толстые перчатки, зимняя шапка, к чемодану подвязаны ремнями валенки. Может быть, Чита? Иркутск? А может быть, Якутск? На стройку дороги, на закладку рудников, на бурение нефтескважин, на лесозавод? Немолодая женщина, с зеленым рюкзаком. На ней — куртка, серая вязаная шапочка, на ногах шерстяные чулки. Кто она? Может быть, геолог, нагоняющий экспедицию. Куда летит? На Тянь-Шань, на Ухту, на Алтай, в тундру?

Вот эти важные молодые люди, широколицые и полнощекие, в новых шляпах, новых пальто с подкладными плечами,

в желтых ботинках, с желтыми портфелями, наверное, летят на дружественную Варшаву, на Прагу, Белград, Софию.

Краснощекий генерал в распахнутой шинели, поскрипывая сапогами и покашливая, прохаживается по каменному плитчатому полу, — он, надо полагать, возвращается из отпуска в побежденную Германию — в Берлин, Лейпциг, Дрезден?

Вот большая группа людей: смуглые лица, носы с горбинкой, приплюснутые носы, удлиненные глаза, косой разрез живых карих глаз, — это, видимо, будущие попутчики, летящие в средне-азиатские республики — в Узбекистан, Туркмению, Киргизию, Казахстан...

Вот молодая женщина с утомленными, полузакрытыми глазами, непривычно ей рано просыпаться, она зевает, прикрывает губы серенькой перчаткой, стучит туфлей по плоскому чемодану, — должно быть, мерзнет нога в прозрачном чулке. Многие оглядываются на нее: женщин интересует одежда, — изящно, к лицу, надо бы запомнить, как и что, «снять фасон». Мужчины смотрят по-иному: красива! Она, наверное, летит на курорт — Сочи, Адлер, Ялта, Кисловодск, Рижское взморье? Жена министра, актриса? Юг и север, восток и запад — тысячи километров. Какое различие одежды, судьбы — в тайгу, в сухие пески, в совхозы, на заводы и рудники, к асфальту городов, на вьючные тропы, на побережье морей, в океанские порты, в пшеничные равнины, в квартиры с ванной и горячей водой, в землянки и бараки новостроек.

Голос диктора выкликает пассажиров — на Молотов, на Берлин, Киев, Алма-Ата, Адлер, Калининград... Слышен шорох шагов и короткий рев моторов. Приятно угадать направление полета по одежде, по лицу, по обуви, по вещам. И досадно, когда предполагаемый таежник начинает суетливо собирать вещи, услышав: «На Адлер», когда красивая женщина в прозрачных чулках, стуча каблучками, спешит за носильщиком, несущим ее вещи к новосибирскому самолету.

Мои спутники по поездке в Киргизию: поэт-переводчик и поэт-редактор. У поэта-редактора это первый полет, и нас занимает — не укачает ли его.

Я вижу, как длинноликий человек в новой кепке и с толстым свертком бумаг в руках, сидящий на противоположной скамье, все время поглядывает на нас; очевидно, он разгадывает: кто мы и по какому направлению полетим?

В какую анкетную категорию мы зачислены им — врачами, хозяйственниками, инженерами, ансамблем щипковых инструментов, кандидатами наук, лекторами, правлением артели, ревизорами, ревизуемыми?

Задача трудная — мы мало говорим. Поэт-переводчик озабочен: двое из его четырех детей, оставшихся в Москве, покашливали за день до его отъезда. Поэт-редактор говорит о клеве окуней на Московском море. Какие гипотезы можно построить на этом? Удивился ли длиннолицый наблюдатель, когда мы понесли чемоданы к фрунзенскому самолету, или, наоборот, торжествующе подумал: «Ага, так и есть, — «Союзплодоовощ» на заготовку фруктов».

Проще всего привыкнуть к чуду. Иначе мы все еще продолжали бы удивляться самолетам, радио, электропоездам, эскалаторам, радару... Воробьи и галки летают от века, а самолет поднят человеком в воздух всего лишь кратких пять десятилетий. И все же, когда мы, прежде, чем улететь на восток, покружили над аэродромом, никто из ходивших по земле не остолбенел и не поднял головы, словно то была галка, а не удивительное создание человеческой мысли, поднявшее в воздух двадцать пять человек и полторы тонны груза и стремительно помчавшееся над облаками. В этой быстрой и легкой привычке к новому — защитное свойство человеческой натуры. Иначе человеку пришлось бы беспрерывно удивляться творениям своим. Но, думается, не только хорошее есть в способности не удивляться, — иногда привычка к новому, к изумительному, невиданному приходит слишком быстро, и человек перестает ценить и понимать великое значение и благодетельный для него смысл новизны.

Странное чувство охватило меня в самолете, — это был мой первый послевоенный полет. Сразу вспомнились самолеты военной поры — летчики с револьверами на боку, пулемет в стеклянном куполе, груды военных грузов на полу, пассажиры в шинелях, полушубках, рассевшиеся на ящиках, мешках, газетных тюках, бреющий полет опасающегося «мессеров» и «фокке-вульфов» транспортника. Вспомнилась и обычная тема командирских разговоров при посадке в самолеты военной поры: «А помните, в мирное время, в самолете кресла в белых чехлах, девушка-буфетчица разносит кофе, чай, яблоки, печенье». Тогда все смеялись, — настолько странной казалась людям с автоматами мысль о девушке в белом переднике, предлагавшей пассажирам яблоки и печенье. Но именно теперь, сидя в кресле, накрытом белым крахмальным чехлом, и глядя на девушку, сердито предлагавшую чай и яблоки, хотелось вспомнить и рассказать соседу о полете в идущем к фронту «дугласе».

Мы летим к Волге так же, как в сентябре 1942 года летели к Волге, к Сталинграду. И снова среди курчавой желтизны осенних лесов, среди деревень и малых городов, рассеченных улицами на угольники и квадраты, среди медных полот-

нищ сжатых полей и зеленых скатертей озими вдруг открылась нам великая река, туманная, среди камышей, светлых пятен песка, в рваном голубом кружеве затонов и заводей.

В этот миг снова ощутил я огромность нашей земли. Вспомнился военный вокзал в декабре 1941 года и перечеркнутые линии железнодорожных маршрутов — на Курск, Смоленск, Вязьму, Орел, Ржев, Харьков, Брянск, Белгород, Минск, Киев, Одессу. Всю ночь, ожидая поезда, я поглядывал на большую доску-расписание, висевшую на вокзальной стене. Чувство физической боли, муку вызывал вид этих умерщвленных дорог, перерезанных жил, артерий и мышц. Казалось, телесно ощущалось удушье, охватившее страну, страшная вражья сила, поставившая границу там, где поезда, выходившие из Москвы, до войны брали тысячеверстный разгон на юг, на запад, на север. Зимняя ночь долго длится, и, как эта темная декабрьская ночь, шли мысли о войне, о границе, положенной под Тулой и у Можайска, за Клином и Ржевом.

В самолете, шедшем над Волгой, не прижатом к земле, а высоко в голубом небе, в самолете, взлетевшем среди десятков и сотен машин, ушедших в это утро на Ростов, Киев, Львов, Одессу, Севастополь, на Прагу, Варшаву, Белград, на побежденный Берлин и Дрезден, вспомнилась декабрьская ночь сорок первого года. И ощущение огромного земного пространства, которое народ отстоял в войне, слилось с ощущением иного пространства, отвоеванного нами,—простора будущего времени.

А самолет летел на юго-восток.

Лестно чувствовать собственный опыт рядом с неопытностью другого, свою силу рядом с чужой слабостью. Мы поглядывали на поэта-редактора с заботливой снисходительностью, давали ему советы, как поудобней устроиться и избежать качки, вполголоса переговаривались:

«Кажись, беднягу укачало... да, побелел, видимо, побаивается».

То и дело мы спрашивали:

— Ну как, — все в порядке? Не робейте, все обойдется.

Но кончилось дело тем, что поэт-переводчик и я после пяти часов лёта почувствовали себя плохо, мы притихли, и нудная желудочная тоска охватила нас. Именно в это время слабый новичок стал проявлять бодрость и заявил, что давно не чувствовал себя так хорошо, и не испытывал такого аппетита, что полет омолодил его, что он считает потерянным те шестьдесят пять лет, которые ездил поездом, — с этого дня он будет только летать.

Под вечер мы снизились на ночевку в Актюбинске. Неторопливый вечерний ветер шел из степи, необъятный ветер, широкий и тяжелый, как теплая океанская волна. Он весь был

насыщен запахами — частый шелковый невод, прошедший по тысячам километров казахской степи и захвативший свежесть вечерних бахчей, дыхание молодых овец, запах конского пота, и голубой кизячный дым, и холодок кумыса, и синюю соль аральской воды, и горький пот миллиардов трав, и желтый жар песчаной пустыни.

Солнце садилось. Угрюмо великолепие этого заката. Могучая астрономическая мощь солнца ощущается именно в минуты, когда в красном и синем дыму, неловкое, чудовищно тяжелое, недоброе, оно уходит с земного неба. В эти минуты ощущаешь, что оно больше, чем что-либо в нашем мире, и степной горизонт земли кажется хрупким синим фарфором, мимо которого проплывает угрюмый и равнодушный космический чугун. В час заката ощущаешь огромность солнечной работы, — это не веселое утреннее личико, а прокопченная мрачная, вихрастая голова мирового кочегара, — в саже, в поту, багровое лицо, опухшее и воспаленное, окруженное синим дымом вечерних облаков. Солнце сработало «дневную упряжку» — нет ей равной по тяжести в мире — и темнокрасным взором оглядывает пустынный простор восточного цеха, уходит на вторую смену своего вечного труда...

Когда человек посещает дом, где он когда-то родился, мысли о сегодняшнем дне покидают его. Он видит всю жизнь свою в целом, вспоминает давно прошедшие годы, и чудное чувство печали и умиления охватывает его.

Обо всем этом думалось, когда мы, жадно закуривая, вылезли по серебряной лесенке из нашей двадцатипятиместной стрекозы и ожидали, пока борт-механик запрет на ключик ее алюминиевое чрево.

Обо всем этом думалось, пока шагали мы по полынному актюбинскому аэродрому, полные благородства, отнимали друг у друга тяжелый рюкзак, набитый колбасой и хлебом, расспрашивали дежурного, есть ли койки и горячий чай в гостинице.

Спалось плохо, авиационные моторы гудели в голове, замирало сердце, тело проваливалось в воздушные пропасти, и казалось — все еще летит в колеблемом, текучем воздухе самолет. А на рассвете, по холодной росе, под холодным ветром мы уже снова шли к самолету, слышали призывное ржание могучих моторов, равных по силе многотысячному табуну степных лошадей.

И вновь в короткие шесть часов промчали нас эти кони над полутора тысячами километров пастбищ, степных городов, солончаков, песчаной пустыни.

Справа от нас прорезались снежные зазубрины гор, слева поплыл изумруд поливной зелени, пунктир дорог, сады, тополи,

светлая нитяная сеть арыков, стены домов — самолет летел над Киргизией.

Вот и кончился путь, которым долгие месяцы шел, изнывая в сомнениях, безумея от жажды, ослепленный песчаными бурями, сжигаемый солнцем Марко Поло.

Нет, не надо привыкать к чуду. Пусть всегда живет в человеке удивление и гордость перед созданиями сердца, мысли и науки, пусть эта гордость будет высшим орденом, орденом достоинства и трудовой славы человека, готовой спорить со славой солнца.

Когда самолет приземлился на Фрунзенском аэродроме, от аэропорта к нему побежало несколько молодых женщин с букетами цветов. Следом за ними пробежал худой смуглый фотограф, держа наизготовке «лейку». Поэзия и проза спустились по лесенке следом за борт-механиком, фотограф, согнувшись, приставил лейку к переносице.

— Отойдите, отойдите, граждане! — закричали нетерпеливые голоса.

Это относилось к нашей бригаде — фотографировали борт-механика, — оказывается, он налетал миллион километров. Мы поздравили его.

Поэт-переводчик, киргизский старожил, стал обходить стоявшие невдалеке легковые машины. Пока он беседовал с водителями, мы стали в тень, под крыло самолета, — нестерпимо пекло солнце, — и смотрели на снеговые горы. Неужели можно привыкнуть к этим белым вершинам в голубом небе, перестать замечать их? За первым рядом снегов в дрожавшем пылающем воздухе едва различалась вторая гряда вершин, — мы стояли у отрогов Тянь-Шаня. Там, в холодных ущельях, среди красного камня и елей, ходили архары, волки и кабаны, медведи и барсы.

Поэт-переводчик, мягко улыбаясь, подошел к нам и стал под крыло.

— Мы летели с такой скоростью, что опередили телеграмму-молнию, и потому нас не встретили, — сказал он.

То было косвенное подтверждение чуда скоростного полета, но мы не стали удивляться, — наш киргизский старожил рассказал, что ему удавалось, двигаясь почтовым поездом, также опережать телеграмму.

2

Я впервые попал во Фрунзе, но, конечно, без труда можно определить, какие кварталы, улицы и дома существуют со времен заштатного городка Пишпека и где возникла новая

столица союзной Киргизской республики с асфальтом, парками, бульварами, превосходными зданиями. Нечто очень милое и своеобразное есть в соединении новых построек — блещущего зеркальными стеклами здания Совета Министров, стоящего в строгом и пышном парке, новых театров, многоколонного здания кинотеатра «Ала-Тоо», филиала Академии наук, зданий медицинского и педагогического институтов, министерств, универсальных магазинов, с белыми домиками окраинных улиц, обсаженных тополями, с журчащими вдоль тротуаров арыками. Гёте когда-то сказал, что архитектура — это застывшая музыка. Какая милая, человечная мелодия в этих домах, двориках, улицах и площадях! С какой улицы ни поглядишь — видны спокойные и величавые снеговые горы; они-то и являются безжалостно-строгой проверкой архитектурных достоинств города. С ними дружат милые улицы, садики, тополи, глиняные заборы, по-украински беленные стены одноэтажных домов. Но должно поздравить архитекторов и планировщиков столицы новой Киргизии — они правильно решили задачу высокого вкуса.

Архитектура новых домов, как бы естественно окруженных богатой зеленью парков и бульваров, просто и органично вошла в облик столицы Киргизии.

Здесь в архитектурную мелодию города вплетен новый мотив, торжественный и энергичный. Простота сельской красоты, пастушеский рог слились с четким маршем, звуками новой жизни, новых сил.

Печать естественности, грациозности лежит на городе, стоящем в богатой долине, у подножья суровых гор.

Этот город — столица древнего и молодого народа, народа, тысячелетиями пасущего овец и лошадей по горным пастбищам тянь-шаньских склонов, народа охотников и кочевников, народа недавней, молодой оседлости. Ведь все живущие сегодня во Фрунзе — геологи, врачи, агрономы, писатели, художники, оперные певцы, драматические актеры, научные сотрудники филиала Всесоюзной Академии наук, управляющие трестами, министры — были рождены в юртах, кочевом тысячелетнем доме киргизского народа.

Случается, встретишь человека, недавно «выбившегося в люди» и надевшего все новое, поглядишь на его угловатые, скованные движения, на топорную неловкость, на богатую и безвкусно купленную одежду и только покачаешь головой. А случается, вот такой же человек пройдет мимо тебя — и диву даешься: как удобно и с каким вкусом одет он, словно всю свою жизнь, да не только он, но и отец его и деды были умными и скромными щеголями!

Таков, мне думается, Фрунзе — столица Киргизской республики.

План наш был прост — пожить во Фрунзе и, справившись с делами, поехать на автомобиле по Киргизии. Маршрут предстоящей поездки нас очень занимал, и по вечерам мы обсуждали его. Имелось два варианта — укороченный и удлиненный. Чадолюбивый поэт-переводчик, который все время волновался о здоровье оставленных в Москве детей, поддерживал блиц-вариант. Седовласый поэт-редактор дважды сменил позиции. Спорам не было конца.

Во Фрунзе мы провели около двух недель. За это время мы многое видели. Хорошо было то, что мы встречались с людьми, смотрели, ходили не по-туристски, а движимые естественным ходом нашей работы. Мы шли в город не со специально задуманной целью экскурсантов и репортеров — посмотреть, удивиться, записать в блокнот, восхититься, а ходили по своим будничным делам, иногда довольно-таки скучным. И вот тут-то и происходило поистине важное и глубокое: во время обыденной деловой беседы или заседания вдруг, точно чудо, точно рыба, внезапно метнувшаяся в зеленой спокойной воде, возникало удивительное, ощущался сильный, преображающий ход новой жизни. «О, великая даль, о, пронзительный зов твоей флейты!».

Когда во время боя артиллеристы-управленцы передают с наблюдательного пункта данные для стрельбы огневикам, поток цифр, бегущий по телефонному проводу, вдруг приобретает всеобъемлющую силу и выразительность. В этих цифрах — мощь оружия, сокрушительная сила снарядов и преодоление упорного бешенства врага, и отвага, и поэзия, и удаль, и расчет.

В цифрах мирной статистики можно раскрыть всеобъемлющую силу и страсть победы нового над старым.

До революции киргизский народ кочевал, во всей стране имелось лишь несколько десятков русско-украинских деревень. В ту пору среди киргизов было лишь два процента грамотных, четыре киргиза до революции получили среднее образование. Книги не издавались, выходила одна газетка — «Пишпекский листок», тиражом в 500 экземпляров. На всю страну имелось лишь 6 больниц, не было театров, — их запрещал коран, — и лишь в Пишпеке открыт был предприимчивым французом кино-иллюзион.

Еще в двадцатых годах райкомы партии и райисполкомы помещались в юртах и вместе со своим районом кочевали на верблюдах и ишаках.

И вот за годы пятилеток возникли 11 современных городов, 1500 сел и деревень, на полях ныне работают тысячи тракторов и комбайнов, работают около 6 тысяч крупных и мелких про-

мышленных предприятий — заводы, фабрики, шахты, рудники, электростанции. Возникли десятки совершенно новых отраслей промышленности — каменный уголь, цветные металлы, сахар, текстиль, виноделие, цемент, кожевенная, обувная, машиностроение.

Создан в эти годы киргизский алфавит и киргизская письменность. В Киргизии сегодня 1607 школ, 6 вузов, 33 техникума, 23 научно-исследовательских учреждения. В школах учиться 268 тысяч детей, в Киргизии 19 тысяч студентов имеется 10 тысяч киргизов агрономов, инженеров, техников, педагогов, зоотехников, врачей, писателей, журналистов, артистов.

В Киргизии издается 89 газет и 5 журналов — их разовый тираж — 160 тысяч экземпляров. За 20 лет в Киргизии издано 27 миллионов книг, 4500 названий. В Киргизии работает 86 радиоузлов, созданы — картинная галлерея, музей национальной культуры, государственная публичная библиотека, сотни городских и сельских библиотек, 885 домов культуры, клубов, читален. Все это там, где в 1916 году издавался «Пишпекский листок» и четыре киргиза имели среднее образование.

Такие цифры могут взволновать. В них запечатлены титаническое трудолюбие, отвага духа, мощь народного таланта, железная воля коммунистической партии.

Когда интеллигенты-киргизы оглядываются на путь, пройденный их народом за три десятилетия, они испытывают чувство людей, поднявшихся горной тропой к снежным вершинам. Но поистине необъятен горизонт и поистине прекрасны все новые вершины, к которым стремятся советские люди, если даже и это огромное движение, этот взрывоподобный рост, эта космическая вспышка народного просвещения не создают ощущение успокоенности и удовлетворенности достигнутым. Нет этого чувства, не возникло оно и во мне.

Удивительно и странно. Огромность пройденного киргизским народом пути прежде всего рождает желание еще более стремительного движения, еще более грандиозных сдвигов, рождается не только гордость достигнутым, но и неудовлетворенность, жажда новых, еще больших достижений. И чем больше гордость, тем больше и сильней жажда движения.

Вскоре после приезда мы встретились с нашими товарищами писателями.

В небольшой комнате собрались поэты, прозаики, критики, литературоведы.

Тут был молчаливый Баялинов — худощавый человек с внимательными, всматривающимися в собеседника глазами, зачинатель киргизской прозы, автор первого киргизского рассказа.

Здесь был Аалы Токомбаев, народный поэт Киргизии, депутат Верховного Совета и председатель Союза писателей, — черноволосый, с большим лбом, с бледным, утомленным лицом много думавшего в бессонные ночи человека и с милой, немного печальной улыбкой.

Впоследствии, путешествуя по Киргизии, мы увидели ту популярность, которой пользуется этот человек в кишлаках и аулах. Всюду мы встречали книгу его стихов, и всюду нас спрашивали:

— Как поживает Аалы?

Здесь был дунганский[1] поэт Ясыр Шиваза, с которым во время войны я как-то встретился на Минском шоссе. Книгу его стихов «Надпись на чаше» мы читали по вечерам вслух. Стихи его изящны и лаконичны. Кажется, можно взять четверостишие в руки, как полупрозрачный китайский фарфор, поставить на стол, постучать по нему пальцем — и он зазвенит упруго и негромко. У Шивазы мягкий, глуховатый голос, он немногословен, движения его, поворот головы, речь отражают внутреннее изящество этого человека. Мне подумалось, что, прочтя его книжку, можно было бы, наблюдая Шивазу на большом собрании, догадаться, что именно он написал эти стихи.

Здесь был романист Сыдыкбеков, автор книг «Темир» и «Люди наших дней», — плечистый, огромный, большеликий, как юный слон, трудолюбивый и неутомимый в работе.

Здесь был драматург и прозаик Шукурбеков, с нервической усмешкой и спутанными волосами, человек, знающий секреты народного юмора, умеющий заставить смеяться до слез большой зрительный зал драматического театра.

Здесь был и Кубанычбек Маликов — поэт и драматург, один из авторов киргизского гимна и либретто оперы «Манас», закончивший в дни нашего приезда поэму «Весна в Тянь-Шане».

Впоследствии он был нашим спутником во время поездки по Киргизии. Война научила серьезно относиться к спутнику в дороге, это не шуточный человек — спутник в дороге. И случалось не раз, что даже в малых трудностях дороги рушится многолетняя оценка человека.

Кубанычбек — человек веселой энергии, неутомимый и милый дорожный товарищ с легкой и быстрой духовной поступью. Когда, сидя на своем маленьком сером чемоданчике в тряской машине, он, хмелея от красоты гор, неба, затягивал киргизскую песню, когда он вел быстрый и лукавый разговор с седыми путниками, встреченными в дороге, и вдруг, зажигались смехом глаза стариков и начинали смеяться беззубые

---

[1] Китайские мусульмане

рты, Кубанычбек мне казался веселым и вечно бодрым киргизским Уленшпигелем. Когда же добрейший Кубанычбек, сидя на кошме в гостеприимном сельском доме, удивлял нас своей воинствующей любовью к бишбармаку, казалось, что в киргизском Уленшпигеле живет и славный Лааме Гудзак.

Был здесь углубленный в себя поэт Осмонов, переведший на киргизский язык поэму Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Разговор наш был обычным разговором, какие ведутся и велись на писательских собраниях в Москве и Ленинграде. Говорили о новых книгах, об издательских трудностях, о верной и неправильной критике, о планах, о запаздывании журналов, о редактуре, о переводах, о неналаженной работе с молодыми писателями, об альманахе, об участии в газетной работе, о читательских конференциях.

Но мысли, возникавшие в голове, были не обычными мыслями московского собрания. То было первое поколение киргизской письменной литературы, собрание начинателей и основоположников. В маленькой комнате за столом, покрытым синим сукном, сидели люди, первыми создавшие киргизский роман и киргизскую повесть, киргизскую поэму и лирику, очерк, молодое литературоведение молодой литературы.

Какое разнообразие лиц, улыбок, строя речи, выражения глаз! Как различны произведения и как различны люди, их писавшие!

Какие различия темпераментов, какое богатство характеров: тут и напористость, и резкость, и грубоватая прямота, и сдержанность, и смелость, и осторожность, и поэтическая наивность и остроумие, и непоколебимая уверенность, и неврастеничная мнительность. Тут и мечтательность лирика, и сильная логика аналитического мышления. Тут и беспечная леность, и скепсис, и всепобеждающая вера. Тут и скромность, и самомнение, и прилежное трудолюбие.

Ведь это она, великая русская революция, совершенная трудящимся человеком во имя человека, единственного и вечного демиурга жизни, торжествовала и праздновала свою победу в богатстве и широте освобожденных ею человеческих сердец, характеров, дарований, осуществленных душевных возможностей! Ведь еще тридцать лет тому назад понятие «инородцы», понятие «азиаты», созданное царским чиновничеством и царской бюрократией, объединяло огромные миллионы людей, и чиновники жаловались, что все люди в Азии на одно лицо — скуласты, смуглы, косоглазы, что не помнишь сегодня, с тем или с этим говорил вчера, что не только лицом, но и внутренне, духовно все «туземцы» в Средней Азии монотонно одинаковы. Это ужасное отношение к людям, как к че-

ловеческому сплошняку, существует и поныне у колонизаторов: «все китайцы на одно лицо», «все эскимосы на одно лицо», «все малайцы на одно лицо». Ведь в этом главный довод рабовладельцев, всякой эксплоататорской агрессии против человека, фундамент всякого и всяческого аморализма.

Да, это Великая социалистическая революция сняла глиняную личину с миллионов человеческих лиц, личину, надетую колонизаторами на народы востока. Революция растоптала мертвую глину, и глянуло на мир прекрасное, живое лицо человека, глянули на мир полные страсти, мысли, ярких, многообразных чувств живые, горячие глаза.

И разве не в этом сила русской литературы, человечной литературы, что она рвала, подчас окровавленными пальцами, цепь, опутывавшую человечество, сбивала мертвую глину с живого лица человека, все ширила и ширила круг человечности, победно свершила свой титанический вековой труд, начатый Пушкиным и увенчанный Горьким?

И разве не потому так дороги под всеми широтами, от полюса до полюса, человеку книги, вводящие в круг человечности все новые и новые слои людей: рабочего и крестьянина, негра, китайца? Эти книги были и будут главными книгами человечества.

Да, много мыслей пришло в голову, пока мы беседовали в маленькой комнате Киргизского союза писателей.

Огромна задача, стоящая перед киргизской литературой, перед всеми молодыми, национальными литературами.

И в свете этой задачи, наряду с радостью, возникает и тревога, начинаешь думать о большой, трудной, очень трудной работе, которая предстоит писателям. Им служить самопознанию народа, им объявить всему миру о великом разнообразии, о глубине и сложности душевных богатств тех сотен тысяч людей, с лица которых революция сняла мертвую глину, им поднять на высоту и утвердить на высоте ценность человеческой личности, главную и основную ценность мира. Чтобы достичь этого, многому надо поучиться самому и многому поучить других. Какое огромное напряжение сил, какая титаническая учеба нужны для этого, какой труд, какая смелость! На какие кручи нужно подняться, чтобы решить такую задачу, какие тяжкие глыбы нужно перевернуть!

Мне кажется: должно и нужно тревожиться, — всегда есть люди, считающие, что литература — дело приятное и не столь уж беспокойное, не требующее от писателя труда и напряжения всех его душевных сил.

И в Киеве, и в Ленинграде, и в Москве, и во Фрунзе есть люди, полагающие, что к сокровищам человеческим можно подобрать универсальный ключик, нечто вроде отмыч-

ки, — и дело пойдет легко, просто, приятно, успешно, прибыльно.

Дело, может быть, и пойдет легко и прибыльно, но ведь к литературе, поставившей русскую книгу над всеми книгами мира, это легкое дело никакого отношения не имеет.

Нет, не просто открывается ларчик.

Об этом нужно крепко помнить всем нам, советским людям, советским писателям — и русским, и украинцам, и узбекам, и таджикам, и киргизам. Мало выйти на дорогу, — надо уметь не только шагать по ней, надо дальше прокладывать ее. А прокладывать большую дорогу трудней, чем ездить по наезженному асфальту, — это тяжело, подчас чертовски тяжело.

Днем мы слушали сказителя-манасчи, Саякбая Каралаева — киргизского Гомера. Полный, небольшого роста, с брюшком, человек в грубошерстном пиджаке, в черной рубахе и невысоких сапожках, снял с черной круглой головы белую киргизскую шляпу, уселся, положил на стол свои маленькие коричневые с изящными, тонкими пальцами руки и со спокойным, медленным любопытством оглядел слушателей ярко-карими круглыми глазами.

Слушателей было не много — человек десять, писатели — киргизы и москвичи, научные сотрудники филиала Академии наук, седой старик-киргиз — ночной сторож филиала Академии, босой мальчик, видимо внук сторожа, и нарядный, одетый в серо-голубую форму сотрудник Киргизского Министерства иностранных дел.

Со слов Каралаева записан самый полный вариант огромного устного эпоса — «Манаса» — 400 тысяч строк. При ежедневном многочасовом пении ему нужно более двух месяцев, чтобы передать все три части эпоса: «Манас», «Семетей» — сын Манаса, «Сейтек» — сын Семетея. Как и всякий истинно народный эпос, «Манас» посвящен борьбе народа против поработителей.

Странно глядеть на эту стриженную под машинку круглую черноволосую, едва тронутую сединой голову и гадать: как же это может в ней уместиться огромный рассказ, сложенный в течение тысячелетия? Запись «Манаса» занимает свыше десяти объемистых томов.

Над изучением «Манаса» работают академики и профессора, филологи, историки, литературоведы, поэты-переводчики, редакторы, им интересуются ученые во многих странах — и вот сидит маленький румяный киргиз с детским ртом, и весь этот огромный мир отшумевших тысячелетия назад битв, страстей, гнева, боли, слез, мир пышных свадеб, поминок, пиров, топот сказочных коней, бегущих под степными звездами в сырых ущельях, пена горных рек и песни девушек—все

это продолжает жить вот в этой стриженной под машинку круглой голове с маленькими ушами, прижатыми к черепу. Представьте себе Толстого, читающего, ритмично покачивая головой, от строки «Eh bien, mon prince...» до последней строки эпилога: «...и признать неощущаемую нами зависимость», единым духом на память «Войну и мир».

Каралаев начал читать. Удивительная вещь — чтение длилось два часа, и все эти два часа я с жадностью слушал, ловил каждый звук, хотя и не понимал ни слова в стремительном потоке каралаевской речи.

То было соединение пения и бурного, быстрого водопада стихов, и упругого речитатива, и медленного рассказа; но то не было пение певца со сцены и умелое чтение прозы и стихов старым хорошим актером. Мне кажется, меньше всего было актерства в том, что происходило. Манасчи не повторяет заученного текста, а импровизирует, говорит, каждый раз вновь и вновь ткет узор и ткань своего рассказа на тысячелетних пяльцах, на вечных узлах сюжета.

Он не играет, не актерствует, а вновь и вновь, должно быть, видит битвы и пиры Манаса, горестно плачет, смеется, торжествует, гневается, когда в душе и в мозгу его возникают и меркнут видения правды и лжи отошедших веков.

Речь его напориста, слова идут быстро, густо, строки неутомимо, одна за другой набегают на слушателя, и их сильный, упругий, ритмичный удар сливается подобно рокоту волн... И вот оживает песчаная и пыльная пустыня, образовавшаяся на дне высохшего, исчезнувшего моря, и снова шумит, грохочет, бьется в пене и брызгах ушедшая тысячу лет тому назад живая вода.

Как слушают манасчи киргизы! Здесь уж нет различия между известным писателем, ученым сотрудником Академии, стариком-сторожем с длинной белой бородой и темноглазым мальчиком со смуглыми босыми ногами.

Слушатели улыбаются, смеются, кивают головами, машут в досаде руками, и вдруг блестят на их глазах слезы, когда плачет Каралаев.

Воистину великое искусство.

Слушая Каралаева, глядя на него, я старался запомнить его наружность, выражение лица, жесты. То, казалось, сама история, подобно горячему минеральному ключу, пробив тяжелый камень времен, журчит, пузырится, пенится, вырвавшись из темной глубины.

Что я слышал о Каралаеве?

Он охотник, у него живет прирученный беркут, с ним Каралаев охотится на волков, лис, зайцев. Беркута Каралаев называет своим братом, подолгу беседует с ним и жалуется ему,

когда бухгалтерия неаккуратно выплачивает гонорар, который ему положен в Академии за записи «Манаса».

У него семья — жена, дети, хозяйство, свои овцы, сад. Он любит плотно и вкусно поесть, выпить, пошутить, посмеяться, покичиться перед соседями. Он умен, мило лукав, честолюбив. Но разве все это может объяснить чудо этого человека? Когда-то Анатоль Франс, описывая героя своего гениального романа Эвариста Гамелена, с восхищением и отчаянием написал: «Этот человек непостижим. Впрочем, все люди непостижимы».

Вечером в Киргизском филиале Академии наук ленинградский ученый, член-корреспондент Академии наук СССР Жирмунский делал доклад «Введение в изучение «Манаса».

После обширного доклада были заданы многочисленные вопросы, затем начались прения. Заседание растянулось на три дня. Выступил профессор Юдахин, москвич, в прошлом году перебравшийся на постоянное жительство в Киргизию, создатель киргизско-русского словаря. Юдахин, — смеясь, говорят киргизы, — знает киргизский язык лучше киргизов, — он киргизский Даль. Этот человек с морщинистым, худым, одновременно суровым и добрым лицом, лицом настоящего путешественника, провел долгие годы в киргизских юртах, с неукротимой жаждой записывая каждое новое слово, каждый новый оборот речи. Выступали писатели, лингвисты, историки, литературоведы, выступали члены правительства, аспиранты. С докладчиком спорили, с докладчиком соглашались, докладчику приводили исторические и лингвистические доказательства правоты и неправоты его гипотезы о генезисе и времени зарождения «Манаса». Слушателями была самая разнообразная публика: и студенты, и школьники, и пожилые люди, и глубокие старики — аксакалы. Да, «Манас» — истинно народное создание, и он интересует, занимает мысли многих, мысли киргизского народа.

На этих ученых заседаниях все время говорилось об анатомии и, если можно так выразиться, о геологии эпоса. И сознаюсь — мне казалось, слушатели все ждали чего-то, о чем не говорили ученые спорщики. Маленький народ сложил тысячу лет назад гимн свободе. Маленький, горный, кочевой народ познал ужасную силу угнетения со стороны великана Китая и познал рабство в пору чингизхановского господства, в пору жестоких боев древних деспотов за власть над миром. Из страшной глубины времен пришел «Манас». И — не удивительно ли? — пыль осталась от великих деспотий прошедших веков, без следа исчезли колоссы — угнетатели мира, их столицы, храмы, дворцы, могучее оружие, их вероломство, их железная сила — все стало прахом. И лишь одно дошло до на-

— Вперед! — крикнул Маликов.

Едва мы выехали за город, Маликов запел протяжную, пронзительную киргизскую песню. Время от времени он прерывал пение короткой командой: «Вперед, вперед!» Мы катили по Чуйской долине, по вечернему шоссе, мимо белых домиков, высоких тополей, садов, сжатых полей, катили среди чудного вечернего мира, и навстречу нам двигались грузовики, полные сахарной свеклы, помидоров, картофеля и капусты, подводы, груженные хрустящей кукурузой, камышом, арбузами и дынями, плыли четвероногие лебеди-верблюды, болтая плюшевыми ушами, семенили крошечные ослики, на которых восседали важные старики в белых треуголках.

Снеговые вершины желтели, голубели, розовели, а в долине уже ложился сумрак, асфальт казался синим; пепельной паутиной висели телеграфные, телефонные провода, в окнах домиков, среди потемневшей листвы, среди свернутых знамен тополей заблестели огни, то там, то здесь среди темного дыма заводских труб рассыпались, зарябили сотни электрических фонарей.

Асфальт, провода, электричество, заводы — и тут же ослики, верблюды, тянь-шаньские снега — удивительная картина, вот они, ожившие, зримые цифры строительства новой Киргизии.

Вот он, новый город — сахарная столица Кант (по-киргизски «кант» — сахар). Вот древний, весь в тополях, Токмак. Дымит в сумерках токмакский сахарный завод, сверкают огни авторемонтного завода, гудят паровозы на новой железнодорожной стройке Кант — Рыбачье, проходящей через Токмак, приветливо гремит оркестр в веселой столовой, стоящей на перекрестке дорог, сладкий приют всех едущих на Иссык-Куль, на Рыбачье, Пржевальск.

Вдруг Кубанычбек Маликов прервал песню и остановил машину. Его кожаная фуражка и пальто блестят, словно облитые водой.

Кубанычбек раскрывает свой серый чемоданчик.

— Так и есть, товарищи, — торжественно говорит он, — я забыл дома документы.

— Может быть, обойдется? — спрашивает поэт-переводчик. — К чему вам документы, вас знает вся страна.

Белые плотные зубы Кубанычбека сверкают: застенчиво улыбаясь, он перечисляет все, что забыто им: паспорт, командировка, талоны на бензин, открытый лист на заправку машины в далеких районах Иссык-Кульской области...

Он еще не закончил своего перечисления, а Федор Иосифович, услышав о талонах, начинает разворачивать машину.

ших дней и оказалось вечным, победило, вероятно, казавшееся в ту древнюю пору самым хрупким, самым слабым и безнадежно несбыточным, преходящим — песнь о свободе маленького кочевого народа, песнь о праве человека быть человеком.

Может быть, об этом хотели услышать старики и юноши киргизы, сидевшие в зале Киргизского филиала Академии наук СССР?

Мы выехали из Фрунзе 25 сентября, имея, как говорится, на борту Кубанычбека Маликова и москвичей — поэта-переводчика, поэта-редактора и меня. За рулем нашей машины сидел милый человек Федор Иосифович Левинский, обладавший редким качеством, которого, к сожалению, лишены почти все шоферы Киргизии — он любил медленную езду и не любил быструю. Благодаря Федору Иосифовичу мы имели возможность, проезжая по горным кручам, смотреть на скалы, на небо, на шумевшую в пене зеленую реку и не шептать, бледнея: «Кажется, конец» и не цепляться за борты скачущей над пропастью, подобно горному барану, машине.

Мы должны были выехать 24-го утром, но машина пришла за нами 25-го вечером. Поэт-переводчик, обладавший телосложением Геркулеса, объявил нам, что выезжать на закате опасно: ночью в горах нас подстерегают грипп, ангина, радикулит. Он считал себя болезненным. Мы не стали спорить и согласились выехать утром. Мы в глубине души тоже считали себя подверженными простуде.

Маликов обрушился на нас троих, — видимо, он уже хмелел от предстоящей встречи с родной природой. Провести ночь в городе казалось ему невозможным. В надвинутой на переносье кожаной фуражке, в желтом кожаном пальто, в высоких сапогах, быстрый, решительный, напористый — он напоминал в эти минуты комиссара времен гражданской войны.

— Нельзя терять ни минуты, — говорил отрывистым голосом Кубанычбек.—Весь маршрут расписан, минута в минуту.

Тут же он нам рассказал, каких трудов стоило ему подготовить к поездке машину, — он выправил все документы, без очереди получил бензин. Нам стало неловко. В самом деле — жалко терять время. Комиссар зажег нас.

— Ладно, рискнем, — сказал поэт-переводчик.

Маликов в это время укладывал в машину рюкзак.

Все мы уселись, поглядывая на розовевшие в свете заката снежные вершины.

Федор Иосифович обошел машину, мы слышали, как он вздыхал и постукивал ногой по покрышкам.

— Вперед! — говорит поэт-переводчик, повторяя властные интонации нашего капитана: — Вперед-назад!

В этот миг в машине рушится диктатура и устанавливается демократический режим — Маликов возводится в свой старый высокий ранг поэта, покинутый им ради славы администратора. Всю дорогу до Фрунзе мы шутили, и громче всех смеялся Кубанычбек.

Но все мы уже заражены великой прелестью дороги. Никто не хочет ночевать во Фрунзе. И снова мы едем по шоссе на Кант, Токмак, к Рыбачьему, к Иссык-Кулю. А ночь необычайно теплая, мягкая, небо ясно, все в звездах, и вправо от нас, где-то между темным небом и темной землей, тревожно и мягко светлеют вечные тянь-шаньские снега.

Мы останавливаемся ночевать в передовом, образцовом колхозе имени Карла Маркса. В темноте находим дом председателя колхоза Айткула Молдокадырова. Лают, хрипят длинномордые и длиннохвостые собаки, на них кричат: «чук!», и они медленно, неохотно отходят от машины. Хозяин, высокий, плечистый и толстый, в круглой, колесом, зимней барашковой шапке, вводит нас через сени в просторную комнату. Пол от стены к стене застлан кошмой, стены украшены коврами, у стены, расположенной против двери, лежат аккуратно сложенные пухлые пестрые ватные одеяла. В углу стоит маленький столик — на нем лежат грамоты и дипломы, полученные колхозом, стопка киргизских книг, — среди них я нахожу зачитанную, с припухшими страницами книгу стихов Токомбаева.

Мы садимся на кошму, поджимая под себя ноги, приглядываясь к тому, как это делают хозяева.

Пока женщины готовят угощение, завязывается разговор о жизни колхоза. Сколько сдержанной грации в движениях, поворотах головы, улыбках, смехе киргизов! Сколько силы в медленном негромком голосе Молдокадырова! Сколько в нем уверенности и спокойствия, когда он отвечает на вопросы, рассказывает!

Во время разговора входят колхозники — старики, молодые, у них есть деловые вопросы к председателю: ведь молотьба идет и ночью. Молдокадыров отвечает неторопливо, немногосложно, немного подумав, но ответы его, видимо, просты и ясны; колхозники не переспрашивают его и, кивая головой, уходят.

Сколько сдержанности и скромности в рассказах Молдокадырова о работе, о достижениях колхоза! Потом мне пришлось много раз убеждаться: удивительно скромны киргизы, скромны, когда, как говорится, сам бог велит похвастать.

В колхозе более 7 тысяч баранов, 800 лошадей, 400 коров, большие посевы пшеницы и сахарной свеклы, обширные сады, бахчи, пасеки, огороды, свои фермы. Как сложна и многооб-

разна система полива полей и садов, какие удивительно тонкие и остроумные приемы заставляют бесшабашную воду горных рек трудолюбиво, вопреки всем ньютоновым законам, подниматься по холмистым землям колхоза.

А сколько сложного расчета, знания, опыта, сколько бессонной работы, какое напряжение мысли требуется для того, чтобы зимой и летом тучнели и множились огромные стада баранов и рогатого скота, табуны колхозных коней!

Это хозяйство по многогранной сложности своей не уступит большому современному промышленному предприятию. У колхоза своя энергетика, своя пятилетка. Колхоз внедряет новые методы труда, осваивает новые культуры. В колхозе своя механизация, свои специалисты, счетоводство, бухгалтерия. В работу колхоза вплетены последние достижения современной науки агротехники, садоводства, пчеловодства, современной зоотехники.

Когда думаешь об этом — вдвойне приятно слушать сдержанную, немногословную речь Молдокадырова, наблюдать его разговор с бригадирами, чабанами, заведующими фермами, много в нем силы, непоколебимой и властной уверенности.

Люди, создавшие этот мощный хозяйственный коллектив, эту совершенно новую форму владения и пользования землей, трудятся уверенно. Они привыкли к колхозу и, вероятно, не думают о том, что никогда и нигде в мире не было таких хозяйств, как то, в котором они сегодня спокойно и успешно работают.

Молдокадыров угостил нас наславу, на белой скатерти, постеленной поверх кошмы, было поставлено, словно в подтверждение успешной работы передового колхоза, все, чем богат он,— горячие пшеничные лепешки, мед, пахнущий горными цветами, огромные краснолицые яблоки, сладчайшие дыни и арбузы, масло, нам подали миску вареной баранины, а в пиалах дымящийся бульон — шурпу, и под конец главное угощение киргизов — бишбармак — скобленое баранье мясо с белой лапшой. Это было пиршество колхозного изобилия. Конечно, не все киргизские колхозы так богаты и обильны, — ведь мы остановились в передовом колхозе и угощал нас знатный человек колхозной Киргизии, а не рядовой колхозник. Но этот колхоз и подобные ему колхозы-вожаки потому и называются передовыми, что по ним равняются другие, что они пришли вперед по той дороге, которая открыта для тысяч других хозяйств. Хочешь — шагай, догони.

Летом 1942 года на фронте мы курили табак «Бомское ущелье». Табак был плохой, крупной резки, и слабый; может быть поэтому я не интересовался, где находится это ущелье.

И название это вдруг снова возникло в памяти, когда шоссе стало петлять, а горы, стоявшие по обе стороны Чуйской долины, сошлись и зашумел Чуй, зажатый среди скал и камней.

Мы въезжали в Бомское ущелье.

Мрачная и угрюмая картина. Мощные темные камни нависли над рекой, кое-где по склонам гор видна была желтая трава и лепился низкий, почти безлиственный кустарник. А дальше все круче поднимались голые склоны. Красные осыпи, снова огромные черные и красные камни, уступы, стены, то полированные тысячелетиями дождя и ветра, то зубчатые, шершавые. В некоторых местах горы сходились впритир, — казалось, дорога вот-вот оборвется, голубое небо казалось далеким чердачным оконцем среди черных стропил и тесных стен. А внизу ревела зеленая вода, дышала жестоким холодом породивших ее тянь-шаньских ледников и скал.

Здесь была кузница мироздания, где страшные подземные силы гнули осадочные породы, дробили гранит и базальт, воздвигали чудовищные стропила под крышей мирового небоскреба. Здесь обнажались, обычно скрытые под бархатом чернозема и нежной зеленью долин, толстые жилы и грубые кости земли.

И удивительно — картина грубой мощи, тяжеловесных высот, ломаных линий, тупых и острых углов, геометрического хаоса сложных каменных кривых, бешенство угрюмой массы, победившей силу тяжести и взметнувшейся высоко в небо, — все это было прекрасно, дышало высшей красотой. Так человек, вошедший под мрачные, прокопченные своды прокатного цеха металлургического завода, вдруг ощущает не уродство, а величие и красоту грохочущего, пышущего пламенем железного ада.

Широка красота мира — она всюду — и в запахе нежной розы и в рождении чугуна среди едкого дыма и пламени доменной печи.

Но в картине тянь-шаньских гор было еще нечто, что отличало ее, создавало какое-то особое, томящее волнение. Мне кажется, это особое напряженное чувство, возникшее в угрюмых стенах Тянь-Шаня, вызывалось острым, почти зримым ощущением четвертой координаты, которую физики и философы вводят в формулу мира, — координаты времени. Здесь протяженность мира во времени была ощутима, как протяженность его в пространстве. Миллионы веков обнажились в пластах и массивах гор, страницах мирового календаря. Сумрак и холод, суровость ветра поднялись из раскрывшейся бездны времени.

И сердце, казалось, сжималось не только оттого, что ма-

шина шла на высоте над пропастью, — она бежала по круче времени над обнажившейся глубью геологических эпох.

На несколько десятков метров выше шоссе поблескивали рельсы, — здесь прорубали железную дорогу. Рельсовый путь шел среди черных и красных скал — то исчезали, то вновь появлялись белые нити; прогудел паровоз, толкавший платформу, груженную шпалами, замасленный машинист, улыбаясь, помахал нам рукой. И тонкие, нитяные рельсы и петушок-паровоз казались игрушечно малыми на фоне гор.

Но сколько смелого задора, сколько упрямого мужества было в паровозе, сердито пыхтевшем средь тянь-шаньских громад! Он ведь пришел сюда, чтобы поспорить, пошуметь в кузнице земных времен.

К пяти часам дня мы выехали на развилок шоссе; одна дорога вела к Рыбачьему, озеру Иссык-Куль, к Пржевальску, вторая сворачивала вправо, в Центральный Тянь-Шань, к городу Нарыну, центру Тянь-Шаньской области. Мы поехали на Рыбачье, туда, где виднелись маленькие домики и синело озеро.

Иссык-Куль имеет в длину около 250 километров, ширина его невелика, и почти во все время нашего пятисоткилометрового пути вокруг озера был виден противоположный берег. Не знаю, есть ли в мире место прекраснее этого. Подобно удлиненной синей жемчужине, озеро лежит среди снеговых гор, в центре Иссык-Кульской долины. Синева воды вправлена в тополевую зелень прибрежной полосы, зелень берегов обрамлена снеговыми вершинами.

Синева озера настолько густа, что, зачерпнув воды в руку, невольно смотришь, не синяя ли она в горсти и не окрасились ли пальцы ее синью.

Вероятно, такой кажется вода путнику, видящему мираж в пустыне, да и мне вдруг начинало казаться: не мираж ли эта немыслимая, разящая синева Иссык-Куля?

С гор к озеру бегут реки, и трудолюбивая сила человека дробит их на сотни и тысячи ручейков — арыков. Когда в горах идут дожди, некоторые реки окрашиваются то в молочный, то в темнокрасный, то в оранжевый цвет, — это дожди вымывают цветные глины и песчаники, и быстрая горная вода уносит цветную взвесь в долину.

Вдали от поселений, там, где земля стоит без полива, каменистые берега пустынны, поросли желтой щетинистой колючкой, грубыми толстыми стеблями травы, тысячи тяжелых валунов лежат на сухой, прокалённой солнцем земле. Издали эти валуны кажутся овечьим стадом, — я часто ошибался и то принимал белые, серые и черные камни за овец, то живых овец — за разбросанные по берегу камни. Но не так уж часты

пустынные места. Вдоль озера вытянулись многочисленные деревни — белые домики, улицы, обсаженные тополями, мощными ореховыми деревьями. Вокруг деревень пышно, на много гектаров тянутся яблоневые сады, краснеет толстощекий и румяный иссык-кульский апорт. Среди зелени садов стоят длинные одноэтажные постройки — колхозные школы. Все деревни вытянуты вдоль шоссе, словно новая киргизская деревня, подбоченясь, кичится перед проезжими своими успехами: «Вот они, наши новые оседлые дома, поля, сады, школы, фермы, клубы, сельские больницы, пчельники; вот они, высокие скирды нашей пшеницы; вот они, идут по деревенской улице, бригадиры, трактористы, учителя, колхозные счетоводы!»

Но, конечно, не поэтому вытянуты вдоль проезжей дороги дома, поля и сады, — узка полоса плоской прибрежной земли. С дороги видно, что поля прилегают к самой подошве гор и даже там, где склоны начинают набирать крутизну, трудолюбивая и неутомимая рука пашет землю, сеет пшеницу, растит кукурузу.

Лунной ночью вода в озере блестит желтизной; вот, кажется, бросишь камень и торжественно загудит в ночи звенящая медь. Вершины гор на противоположном берегу при луне мягко светлеют, а за ними поднимается голубоватая мерцающая пелена. Это, должно быть, отсвет далеких, уходящих к границе Китая снежных хребтов — днем их не видно.

Удивительно: горы — символ вечности и неизменности, но как зыбко изменчив их облик в час рассвета, днем, при ясном небе, и в облаках, на закате! Ведь каждые несколько минут они меняются. Утром снега то лимонные, то розовые, то желтые. Вечером они оранжевые и красные, пепельно-синие. Днем горят они жестоким блеском обнаженной стали. На серых бархатных и плюшевых склонах предгорий лежат камни, некоторые величиной с овцу, некоторые не меньше двухэтажного дома. Тени неподвижных облаков покоятся на склонах гор, и издали они похожи на каменные глыбы, — но вот облака движутся, и тень, казавшаяся камнем, оживает, скользит, плывет. Медленно, плавно скользит легкий и пестрый хоровод светлых и темных пятен по плюшевым предгорьям, по угрюмым лесам тянь-шаньских сосен, по скалам и снегам. Горы на противоположном берегу озера слились с облаками, дымятся, вершины, прорезав облака, уходят в небо; все бело — и горы, и облака, и уже кажется — все движется, дымится, дышит, меняется, течет: и белые снежные скалы, и туман, и камень, и тучи, словно за синей водой нездешний мир, небо и земля там едины. Может быть, поэтому и зовутся эти горы Тянь-Шань — Небесные горы?

А иногда облако округло и удобно ложится на травянистую горную постель, лежит, спокойное, овальное, чуть дышит, — смуглый воздушный жемчуг.

Во время тряской иссык-кульской дороги больше всего болела шея, — все время поворачиваешь голову, охваченный жадностью, растерянный. И небо, и горы, и озера, и пустынная земля, и зелень садов, и поля, и жизнь человека, красиво и прочно вошедшая в иссык-кульский мир, — все хорошо. Иногда откроется такая картина, что долго еще оглядываешься, словно расставаясь с дорогим человеком: еще разик, хоть минуточку поглядеть...

Может ли зрячий действительно измерить мрак слепоты, может ли он понять, что такое тьма, невидение?

В Иссык-Кульской долине, неожиданно подумав об этом, я внутренне вздрогнул, на миг понял великую печаль слепоты, — так хорош здесь мир, нет для него слов, его нужно видеть, смотреть на него день и ночь неутомимо жадными зрячими глазами.

Во время поездки по Иссык-Кульской области мы познакомились со многими людьми — колхозниками, бригадирами, звеньевыми, партийными и советскими работниками, врачами, геологами, учителями, школьниками, студентами; мы видели сельские клубы и библиотеки, колхозные детские ясли, осматривали сельские школы-десятилетки, строительство Орто-Токойского водохранилища, которое оросит 70 тысяч гектаров земли, побывали на замечательных курортах, возникших в диких горах вокруг целебных источников, видели образцовый конезавод, где выведены прекрасные кони, подобные ожившим бронзовым изваяниям, мы видели лесозаводы и колоссальные сады, тянущиеся на много десятков гектаров, образцовые молочные фермы и пасеки; мы слушали киргизское радио во время ночевок в горных колхозах и при свете электричества сельских гидростанций просматривали газеты, которые выписывают колхозники. Мы видели на полях комбайны, а ученые зоотехники-киргизы рассказывали нам о своей сложной работе по улучшению пород скота. Для того чтобы подробно рассказать обо всех этих встречах, разговорах, обо всем виденном, вероятно, понадобилось бы написать книгу.

В память врезались отдельные картины иссык-кульской жизни, лица, улыбки, разговоры.

Вот молодой киргиз, встретивший нас на деревенской улице, — лицо его полно солидности, он одет в серый костюм, на жилете у него толстая цепь, свидетельствующая, что молодой человек при часах, на голове фетровая шляпа. Он согласился указать нам дорогу к правлению колхоза. Он, оказы-

вается, преподаватель физики в сельской школе. Мы идем по улице и беседуем о методе преподавания физики.

Вот девятый класс сельской школы, у доски ученик и учитель, почти такой же юный, как и школяр. Громко скрипит мел — худенький стройный ученик, блестя глазами, быстро пишет сложное математическое преобразование, — вся доска исписана радикалами, каверзными корнями. Класс напряженно и молча следит за смуглой рукой отвечающего. Как блестят десятки юношеских глаз, — по лицам видно, что логика математической мысли захватила всех. Один лишь учитель спокоен, важен, снисходительно кивает.

Мы спрашиваем: думал ли ученик о своем будущем, о том, что он будет делать по окончании школы?

Своим звонким, уверенным голосом он отвечает: — Да, думал, решил поступить на физико-математический факультет.

Учитель говорит: — Из двадцати восьми учеников, окончивших в этом году десятый класс, двадцать пять пошли учиться в высшие учебные заведения.

Вот мы осматриваем строительство клуба в колхозе имени Сталина. Председатель колхоза, приземистый, широкоскулый Сарамбаев, беззвучно смеется, — ему нравится наше удивление, морщинки собираются вокруг его глаз, блестят белые зубы, этот пятидесятилетний человек кажется мальчишески задорным. Он показывает нам зал, будущие читальни, комнаты отдыха, биллиардную.

Сарамбаев рассказывает историю этого колхозного клуба-великана.

В августе 1946 года в Тянь-Шаньскую область выехала делегация Иссык-Кульской области — для заключения договора о соцсоревновании. Делегатам показали строительство областного театра в Нарыне. Пока соревнующиеся секретари обкомов и делегаты обсуждали пункты договора, Сарамбаев вновь пошел на строительство и деревянной линейкой измерял ширину зала.

Приехав к себе в колхоз, он созвал собрание и предложил колхозникам построить клуб, в котором зал будет на метр больше нарынского театрального зала. Мысль подхватили, всех развеселила и рассмешила дерзость Сарамбаева: зал в колхозном клубе на метр больше театрального зала в областном городе. Нашлись свои колхозные архитекторы и проектировщики, каменщики, плотники, маляры, — при нас уже в клубе настилали полы, и Сарамбаев трясся от смеха, представляя кислые лица тяньшаньцев: иссык-кульский колхоз обскакал областной город.

Вот бригадирша дунганского колхоза уйгурка Тезва Кудайкулова. Она собрала со своей бригадой урожай пше-

ницы по 38 центнеров с гектара на площади 27 гектаров. Как обыденно просто звучит рассказ этой смуглой худой тридцатилетней женщины, как спокойно улыбаются ее карие глаза. Ведь именно в этой обыденности великая сила. И в рассказе, как трижды она поливала пшеничное поле и перенесла на своих плечах, мешками, три тонны удобрения. И в том, что в ее бригаде работают русские, киргизы, уйгуры, дунгане, что в колхозе в братском единении живут и работают представители девяти национальностей. Она удивляется нашему восхищению: ведь есть колхоз, где отлично работают представители восемнадцати национальностей, — но что же в этом необычайного? Она рассказывает о своей семье: три брата ее живут в Москве — один механик, второй доктор, третий инженер. Доктор хочет приехать в колхоз, провести отпуск у сестры. Ее волнует, удобно ли ему будет: квартира у нее тесная. Да, именно в этой обыденности, в этой массовости нови — чудесная сила.

Может быть, не нужно удивляться тому, что на далекой окраине необъятной страны, где-то в горах, вблизи китайской границы, в аилах и кишлаках мирно живут прежде враждовавшие народы, что босые школяры там мастерски доказывают бином Ньютона, что молодые учителя физики — киргизы беседуют с гостями о методике преподавания, что во многих сельских домах горит электричество, что колхозницы получают письма от своих братьев — московских врачей и инженеров...

Но как не удивляться великому потоку новизны! Ведь тридцать лет назад, в 1916 году, вся Киргизия пылала пожарами, гремели пушечные выстрелы, — то войска Николая второго усмиряли киргизское восстание.

Восстание началось после того, как царское правительство объявило о мобилизации киргизов на тыловые работы. Десятки тысяч киргизов ушли в горы, через перевалы, в Китай. Ужасен был этот путь. Люди гибли тысячами от холода, голода, волчьи стаи терзали оставленные без погребения тела. Киргизы не хотели служить русскому царю, губернатору, приставам, урядникам, баям, кулакам-землевладельцам, они не хотели воевать за русское самодержавие, за колонизаторов, поработителей, угнетателей. Но не легко пришлось им в Китае. Они сделались добычей грабителей, эксплоататоров, работорговцев. Когда весть о революции дошла до них, они вновь вернулись на родину.

Все это было так недавно — всего тридцать лет тому назад — в тысячелетней истории народа.

Киргизы помнят жестокий 1916 год. Часто разговор заходит о грозной поре, и лица людей становятся печальны, вспоминаются пережитые страдания.

Зашел об этом разговор в колхозе «Талапкер», недалеко от Пржевальска. Бакаш Орунтаев, председатель колхоза, худой человек огромного роста, с суровым, горбоносым лицом, рассказывал о том, что пришлось ему пережить в пору странствований по Синьцзяню. Я тихонько прошел в соседнюю комнату, где находились дети Орунтаева. Среди смуглых киргизских детей сидела румяная беловолосая девочка; она подхватила на руки крошечного полуголого бутузика и стала целовать его, малыш отбивался, болтал голыми ножками.

Я вышел на улицу, подошел к дому, у которого стояла молодая русская женщина.

— Это ваша девочка играет там? — спросил я.

— Нет, это не моя, — ответила женщина, — это сирота Нина Чагринец. Отца на войне убили, а мать умерла. Ее Орантаев удочерил — живет у него.

— Как ей живется?

— А как живется! Люди они хорошие, и председатель, и жена. Ее ребята дразнят: «Лидка, вот заберем тебя от Орантаева» — она плакать начинает, кричит: «Не пойду никуда!» И по-киргизски хорошо говорить стала.

Женщина рассказала мне свою историю. Ее муж когда-то работал шофером в этом колхозе. Во время войны она с ребенком уехала, мужа мобилизовали, вскоре она получила извещение о том, что муж убит на фронте. Ей много досталось невзгод, нужды, голода, бесприютности. Наконец, она снова приехала в колхоз, где когда-то работал ее муж. Киргизы приняли ее по-братски, дали домик, заботились о ней, — теперь она колхозница, живется ей неплохо, на трудодень в этом году выдали по пять килограммов хлеба.

И вот еще одна ночевка, в колхозе «Бейшике».

В комнате собрались киргизы-колхозники, идет спор о том, какой арбуз слаще — чуйский или иссык-кульский. Неожиданно кто-то из нас, приезжих, спросил:

— Кто из вас был на фронте, товарищи?

— Кто был? — переспросил парторг колхоза Мекешев. — Все были, до одного, — и он обвел рукой всех сидевших.

Сам он, снисходительно-веселый и статный, был наводчиком орудия в противотанковой артиллерии, оборонял Сталинград, прошел с боями через пять иностранных государств и закончил войну в Австрии. На груди у него семь солдатских медалей.

Слева от него сидел солдат-пехотинец, сутулый Чеготаев, штурмовавший Львов, за время войны получивший четыре тяжелых ранения. А справа сидел колхозный счетовод Бабеков, полнощекий, со сдержанной, добродушной улыбкой. Он инвалид, потерял во время боев на Кавказе руку.

Мне очень запомнился этот вечер. Много было разговоров, воспоминаний, — сколько общих дорог!

Хороша дружба двух солдат, шагающих рядом, рабочих, работающих в одной смене, двух колхозников, вместе выезжающих на пахоту.

Но как величественна, как прекрасна дружба народов в труде и бою, дружба, цветущая там, где тридцать лет назад гремели выстрелы и небо светилось злым пламенем ночных пожаров.

Кончился наш путь вокруг озера. Сколько людей, сколько впечатлений! Уж, кажется, ничем нас не проймешь — устали. И вдруг среди сумрака дикого горного ущелья, среди черных вечерних сосен и вечных снегов нам открылась поразительная картина — заводские цехи, крутая сеть дорог, вагонетки, трубы, провода, подъемники, сотни электрических огней, вспышки автогена и белоснежное девятиэтажное здание, сверкающее сотнями окон в последних лучах заходящего солнца. Это была обогатительная фабрика при свинцовом руднике...

Мне хочется рассказать о последней путевой встрече. Когда мы уже подъезжали к Фрунзе, нас обогнал легковой автомобиль, — манасчи Каралаев возвращался из поездки по колхозам. Пока обогнавшая нас машина не ушла далеко вперед, я видел большую стриженую голову Каралаева в белой киргизской шапке. Голова его мерно покачивалась в такт движению в зеркальном прямоугольном окне. В этой голове жил эпос народа, тысячу лет передававшийся от певца к певцу.

Исчезло без следа государство Тимура, обратились в пыль великие деспотии прошлых веков. И лишь песня о свободе, о праве человека быть человеком дошла до наших дней. Но сегодня эта тысячелетняя песня уже не слабый, мерцающий в сумраке юрты огонек.

Эта песня о свободе киргизского народа ныне стала могучим пламенем, силой плавящей руды, дробящей камень, орошающей пустыни, силой, превратившей колониального раба в свободного человека.

Киргизия, сентябрь — октябрь 1947 г.